

А все, что пока
происходит, – лишь
пролог к лучшей
жизни.

НАТАЛИЯ РЕПИНА

ПРОЛОГ

18+

Наталия Репина

Пролог

«ЭКСМО»

2020

Репина Н.

Пролог / Н. Репина — «Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-113743-4

Действие романа происходит в 1954 – 1956 годах. В центре повествования – истории двух подруг-студенток, одна из которых влюблена в сорокалетнего художника. Все они, как и страна, находятся в предвкушении перемен к лучшему. Каждый ждет чего-то от жизни: рывка в карьере, счастливой любви. А все, что пока происходит – лишь пролог к лучшей жизни. Но вот состоится ли это будущее?

ISBN 978-5-04-113743-4

© Репина Н., 2020

© Эксмо, 2020

Наталия Репина

Пролог

В оформлении обложки использована иллюстрация:

© Helena / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com



В пять тридцать фанфары извлекают из небытия. В полной темноте, с желтыми пятнами фонарей за неплотными шторами. Р-р-р-раммм!!! Со-юз не-ру-ши-мый...

Ненавистные звуки радио по утрам. Вставать по будильнику, зимой, в пять тридцать утра и под громкое радио при электрическом свете собираться на службу. Муравьиная жизнь за стеной, хлопотливое гудение примуса, детский топоток – кто бы рассказал, как и где научаются люди жить.

Регина Молчанова – королевским именем Регина ее никто не называет, сократилось до Гули – живет на грани опоздания, как на краю пропасти. Она несется, задыхаясь, по проспекту Коммунаров – он равен шириной средней московской улице, дворники шкрябают лопатами по бесснежному асфальту, мимо стройки Дворца культуры, массивно-арочного великолепия на улице, конечно же, Горького, по аллее – весной высадят прутики берез в честь Десятилетия Победы – и пуховый платок сбивается на голове, и облезлая роскошь – чернобурка тощего зимнего пальто, поправляемая потной рукой, оставляет на ладони свои черно-седые волосинки.

Она не завтракала, хотя соседка Верка подпихивала ей свою яичницу – но при одном взгляде на ломкий кружевной край, где золотистый, а где коричневый, ее затошнило; а кофейный напиток с молоком подернулся пенкой: сухие морщины со склизким исподним.

С пересохшими губами и горлом, шумно дыша открытым ртом, она врывается в закрывающиеся двери электрички, и спасибо дядьке, что поднажал сзади, спасая, конечно, себя.

И вот за окном тамбура начинается свое: из непроницаемой темноты проступает страна. Сначала пролетающими встречными – из невидимого пространства ниточка свиста, гул приближения, и с победительным ревом ударная волна света и грохота, и понеслось мелькание желтый-темный, желтый-темный, спешные синкопы: ду-дум, ду-дум, цезура, ду-дум, ду-дум... Скрылось, и вновь в окне ушанки, кепки, платки, черные точки глаз того долговязого, который втиснул тебя в это месиво. Чернота синееет, и наконец в ней обозначаются зазубрины проносщегося леса.

Где-то на середине дороги должна появиться речка – по ноябрьскому времени суток она оказывается уже в сером, а вот в декабре будет еще не видна в непроницаемом темно-синем. Штрихи осинки на берегу, покрытом нежным первым снегом, прутики кустов торчат из-под него, и на воде – белые кучки приютились на корягах и отмелях; дрожат от проносщегося состава редкие ржавые листочки, и стальная вода лениво ополаскивает ветки поваленного в речку дерева, а корни его с промерзшей землей еле успевают отметить бегущий от картинке к картинке и назад зрачок. Эти скачущие глаза видит перед собой Регина, отвернувшись от окна, и думает, что женщина, к которой она притиснута, даже не догадывается, как дико выглядят ее глаза, а еще – что у самой только что были, наверное, такие же.

А у долговязого взгляд неподвижен и страшен, и он как-то слишком прижат к Регине, теснота тоже имеет свои градации, и она, сколько может, оттирается от своего недавнего благодетеля, пытаясь по крайней мере повернуться к нему боком, но получает тут же справа от невидимого ей соседа «стойте спокойно, гражданка» и уже с опаской взглядывает в светлеющее окно тамбура, где, не стираемый змеящимися проводами и мелькающими столбами, замер

остановившийся взгляд странного попутчика. Он смотрит теперь не на Регину, а, вполне мучительно, куда-то вверх, и от его тяжелого дыхания колеблется пух на ее платке.

На подступах к Москве в совсем жидком сереньком – дома, двухэтажные желтые крепьши, трехэтажные, с деревянным верхом, бледнеющие огни фонарей, еще более бледное небо с тающим пятнышком луны.

Борьба за выход на «Москве-товарной»; жители тамбура, пережившие густое подселение на промежуточных станциях, пытаются пропустить выходящих, и тут-то долговязый, то ли не устояв, то ли что, вцепляется в ее плечо, и судорога проходит по его сухим птичьим пальцам, на которые, вздрогнув, косится Регина.

Он последним поспешно выходит на этой самой «Товарной»; исчезая из рамки двери и запахивая плотнее пальто, быстро взглядывает на нее своими черными провалившимися глазами и тут же отворачивается: высоко подбритый затылок, драная шапка с завязанными наверху ушами.

Двери закрываются.

Черно-белая размытая репродукция из Дрезденского каталога. Белое тело, обточенное как галька, рука заплелась вокруг головы, другая, ладонь ковшиком, укрыла чресла, нога обернула ногу – свившийся кокон покоится, как в тяжелой воде, в своих драпировках и пейзажах, их не касаясь. Это не сон, это забытьё от «забыть», отвернуться и не видеть, что там за жизнь, на горах и в пространствах, но, похоже, и там все замерло. Или на репродукции не разглядеть. Регина листает каталог. Дала посмотреть заведующая редакцией Княжинская. Ей принес знакомый художник.

Перед Региной – спина редакторши Серебровой, легкие завитушки и цветная шаль на спинке стула. Спинка обтянута зеленым дерматином.

В дверь просовывает голову лисичка Галя, корректор, улыбается, шныряет глазами по углам, как выискивая кого, потом фокусируется на Регине, подмигивает:

– Пошли?

– Куряки, – не отрываясь от верстки, говорит Княжинская, – губите лучшие годы.

Княжинская сама курит с четырнадцати лет.

На лестнице еще холоднее.

– Зайдет сегодня этот твой, – снисходительно говорит Регина лисичке, дозируя словами порции дыма. – Княжинская сказала, каталог заберет, Дрезденский.

– Специально за каталогом придет? – недоверчиво спрашивает лисичка. – Может, это только повод?

Регина пожимает плечами.

– Ну, хоть ты наконец поймешь, о ком речь, – вздыхает лисичка.

Регина пожимает:

– Вечером, наверное.

Таинственный незнакомец. «Вон-вон пошел, да вон же, смотри, ну где, всё, свернул, что ты в самом деле, клуша какая».

Регина не любит малых сих, грешна. Малое, закутанное в платок, держит соседку за руку. Соседкина дочка Марина. Да и с чего ей, скажите, любить эти бесцеремонные существа. «Тетя, а что это штучка у тебя на лбу?» – это менее воспитанные. Прикажете отвечать им «прыщ»? Более воспитанные, не сводя глаз со злополучной «штучки», горячим шепотом спрашивают то же маму «на ушко». Находясь в полшаге обычно. «А у тебя есть свой маленький ребенок? А почему?» Да что вы, ни с чем не сравнимо корчиться под вопросами этих маленьких инквизиторов, наивных садистов, за что же прикажете их любить? Ну, сейчас-то, в девятнадцать, Регина еще может отчитываться только за прыщ, но не так далеко время, когда ответит за все.

Она боится их, потому что ревнует к детству, выкинутая из этого уютного местечка, но не забывшая его. Думаете, она не помнит перестук счетных палочек в коробке? Мокрый синий след от химического карандаша – сначала на языке, а потом на шершавой бумаге? Она и сейчас готова, затаив дыхание, дрожащим пальцем стягивать намокший слой с переводной картинки, которая – не дай Бог – вдруг сморщится и поползет вслед за снимаемой бумагой. А биты, биты, отполированные ладонями деревянные биты для лапты! Свежие квадраты классиков на весеннем асфальте: он высох не везде, но не беда, можно провести и по мокрому мгновенно темнеющую линию. Кто и за что лишил ее всего этого?

Она боится, что они догадаются: она такая метр семьдесят девочка, и – а ну, кыш, вон-пошла! Они первыми догадываются, потому что знают, как ведут себя взрослые, а эта – не так себя ведет. Кто такая, что такое на лбу, а ну поди сюда! Она пытается «по-взрослому улыбнуться ребенку», ребенок круглыми чистыми глазами с недоумением смотрит на испуганную гримасу: «Мама, а что у тети на лбу?» – «Тише, деточка, нельзя так громко спрашивать, тетя тебя услышит». Да уж не глухая.

В воскресенье они с Веркой пошли за керосином. Это недалеко, на рынке. Каменный сарай с зарешеченным окошком. Проходят через запахи главным образом – запахи создают свое пространство, не совпадающее с их источниками. Уже на хозтоварах веет рыбой, хотя она будет только через три прилавка, левее тетрадки с клеенчатыми обложками сдают территорию наплывающему аромату соленых огурцов. Под ногами серое месиво – пять минут назад за рыночными пределами оно белым хрустом отзывалось под ногами. Керосин чуеться слегка там, где конфеты, а около барыг с ношеной одеждой уже уничтожает все остальные запахи. Керосиновая очередь начинается за магазином, оборачивает его собой. Самое неприятное – дверь, ибо держать ее открытой, не прерывая цепочки, холодно, а позволить отрезать себя от вошедших опасно – того и гляди нырнет кто-нибудь «просто на минуточку узнать» и пристроится, пока ты нервничаешь вонне.

Магазин разевает дверь. Регина пытается протиснуться. «Тетя Гуля, а что у тебя на пальто испачкато?» О, еще это. Вчера как раз в обед Сереброва, выбегая к проходной за своими таинственными надобностями: «Гулька, а ты где-то приложилась, смотри!» Сзади на подоле пятно с пол-ладони, от него застывшая трасса капли, теряющей в дороге силы, и сама капля, уже выдохшаяся, не дотянувшая до края, замерла маленьким бугорком. Молоко – не молоко, с недоумением к носу, потом чуть растереть пальцами, опять к носу, шут его знает, что такое, в любом случае иди замой – и на батарею, к вечеру подсохнет, а она перебирает смутные дорожные воспоминания, в которых на мгновение всплывают и остановившиеся глаза долговязого из тамбура, но, не обретя разумной мотивировки, проваливаются в небытие.

Высохло, но замыла плохо. Тетя!..

Новый год встретили тихо. Веркиному сожителю было утром на дежурство, другая соседка, Диля, дворничиха, в пять встанет мести двор, да и дети. Выпили – и по койкам. Только они с Веркой засиделись.

По клеенке разлился чай, в голове – ленивая мысль, что надо вытереть, ходики, белая кружевная салфеточка, за окном – густо-синее с желтыми бликами. Верка взяла вышивать аютины глазки на полотенце – чего время терять. Желто-лиловые, бархатно-лиловые бесхитростные цветочки. Верка немолода: ей тридцать пять. Резкие черты лица, серые волосы с косым пробором и жидкая косичка венчиком, желтоватая кожа, тяжелые умные глаза. Муж – понятно где, пока не вернулся, хотя есть надежда. Двое детей: Мариночка, любитель задавать вопросы, и восьмилетняя Катька. Верка говорит, не отрываясь от вышивки:

– А я думаю, грех – это уклониться от того, что на тебя идет. Надо через все пройти, что для тебя придумано, через самый грех в том числе.

– Чего? – говорит Регина. – Уклоняться от греха – грех?

– Ну да.

Веру парадоксы не пугают. Ну да.

– Ты же не знаешь, куда это все вырулит... Все сплетено.

Впрочем, это может быть что называется подведение базы. Пока муж «там», Верка сошлась с НКВДшником, на десять лет моложе. Кузин, все зовут его по фамилии. Приходит, часто остается до утра, скрипят по ночам за стеной кроватью, утром крикает в ванной, Регина привыкла. Кузин хочет жениться и своих детей.

Странно иногда бывает: самые незамысловатые вещи вдруг пробирают тебя до самого сердца. Вот это сочетание испачканной клеенки, чуть тянущего по ногам сквозняка, странных Веркиных слов, может быть, еще чего-то, не то часов, не то запаха табака от собственных пальцев, когда подносишь руку к лицу, – и вдруг происходит некая химическая реакция, дающая, например, чувство устроенности, защищенности и тепла, какое могут дать только вещи и никогда люди.

Пора и на покой. Она стоит босиком у окна, по очереди греет ледяные ступни об икры, занавеска прильнула к спине, за окном редкие снежинки, лавочка припорошена и земля; на проспекте, тоже присыпанном, след недавно проехавшей машины. Но главное – дом напротив, где всего три освещенных окна, а за ним – не видна, но есть решетка парка, а левее – бараки, и всё, вот в чем был главный восторг: на этом город кончался. Он маленький, а тебе в нем просторно, он ограничен, и вы соответствуете друг другу. Его можно пройти за полчаса, его можно охватить пониманием. Это норка, а жить-то и можно только в норке, в бесконечности – нельзя.

Ноги и в кровати никак не могут согреться, а пока не согреются, она не заснет, а когда засыпает – последняя нежная мысль, что что-то в пятницу вечером случилось очень хорошее, только что?

В пятницу вечером наконец пришел тот самый лисичкин незнакомец.

Регина была одна, все разошлись, а она заработалась, опоздала на первую пару, решила ехать в институт ко второй и выжидала. Княжинская, одеваясь, сказала:

– Может зайти художник, за каталогом... Вряд ли, но мало ли.

Сказала подчеркнуто небрежно, но Регина подчеркнутые небрежности хорошо чувствует. Да и были по редакции разговоры с намеками, что не все так просто у заведующей с этим художником, влюбленная лисичка Галя ревновала, например, очень.

– Мумия. Высохшая мумия. Не на что надеяться. Его привлекает только ее интеллект, а больше от нее ничего не надо. Только интеллект. Конечно, говорит хриплым басом, слова тянет.

Давно не заходил, каталог пролежал с месяц, стало быть, в размолвке.

У Регины с интеллектом, в отличие от Княжинской, не очень. Хоть и училась на «ист. – фил», так в Потемкинском и на вечернем, и училась средне – обычная студентка. Но чутье было на как раз человеческие отношения, на полунамеки, на понижения интонаций и опущенные глаза – это все было как примятая трава и надломленная ветка для фениморовских следопытов. И просто чутье в чистом виде. Вот она точно знала, что лисичке – не светит. Даже не видя его, только по ее, лисичкиным, интонациям, ибо человек всегда сам в глубине души знает, светит ему или нет, и сам себя выдает. А с Княжинской что-то определенно было, но было не просто.

Он оказался очень бледным, до синевы, и со светлыми глазами, не то серыми, не то зелеными. Взгляд острый до того, что, кажется, сам его боялся. Только делал мгновенный снимок и сразу прятал глаза.

Открыл дверь; мазнув взглядом по комнате и отметив в ней присутствие человека, но не того, сделал шаг через порог.

– Здравствуйте, – сказал он, глядя вниз и в сторону. – Софья Михайловна ушла уже?

– Да, – сказала Регина с другого конца комнаты.

Только тут наконец посмотрел на Регину, секундно.

– Меня зовут Алексей, фамилия Половнев, – сказал он ножке ближайшего стула.

Вытертое кожаное пальто, грубой крепкой кожи, поэтому и вытиралось до белых проплешин, но не рвалось. Кепка. Лет тридцать семь – сорок. Кожаная папка под мышкой.

– Я каталог хотел забрать, может, вы знаете...

– Конечно, – сказала Регина с готовностью. Достала из ящика стола каталог – он так и лежал у нее. Протянула ему.

– Понравилось? – спросил он, забирая каталог.

– Да.

– А что именно?

Какой любопытный.

– Эта... – Регина как назло забыла название. – Дремлющая богиня.

Он удивленно нахмурился, подумал.

– Спящая Венера?

– Да.

Сделал гримасу, то ли уважительно, то ли удивленно. Неожиданно спросил:

– А как ваше имя?

– Регина, – сказала Регина.

Она тысячу раз внушала себе, что, знакомясь, надо подавать руку, но не могла. Наверное, что для него был взгляд, то для нее было прикосновение – что-то слишком откровенное, почти неприличное.

Половнев посмотрел на ее руку, благо это было как раз в зоне его видимости, не дождавшись, улыбнулся, сделал еще один снимок:

– До свидания!

Запихнул каталог в папку, вышел.

И она улыбнулась.

Регина просыпается среди ночи от плача за стеной – там, в соседней квартире, грудничок. Или от этой тоскливой боли. Иногда зажимало что-то в груди, то ли сердце, то ли что. Невралгия. Таким огнем жгло – становилось именно тоскливо. Дышать вроде можно, но вот такая дурная боль, заставляющая искать пятый угол в своей комнатухе.

Она просыпается, и первая мысль – о бледном Половневе. И совпадением этой мысли, плача за стеной и жжения в груди он тоже становится страданием.

Во время войны Половнев партизанил в Белоруссии, но недолго – часть отряда не успела за основным составом, их отрезали и, не мелочась, забросали гранатами. Его отбросило в сторону и засыпало землей, что и спасло: немцы, добивавшие вручную раненых, его попросту не заметили. Примерно через сутки он пришел в себя, но пролежал еще несколько дней, потому что не мог пошевелить ни единой частью тела. Уже после нашего стремительного контрнаступления – наши его тоже не заметили – его нашли местные жители. Переправили в райцентр, а потом и в Москву. Долго обследовали, но не могли понять, почему он не двигается: позвоночник не задет, с головой тоже вроде все в порядке, чувствительность не ушла.

Сам он ничем врачам помочь не мог, а наедине с собой, обдумывая и вспоминая тот день, припоминал лишь собственный животный, идущий из солнечного сплетения крик, похожий на тот, что издадут, когда тошнят – и по-киношному свернувшийся диафрагмой белый свет. В целом было похоже на стремительный провал в сон, даже боли он не успел осознать, если она вообще была. А потом – что называется, с запятой – черное развернулось в белое, точнее, в

грязное – он лежал лицом в землю и мог видеть только ее. Он и смотрел в нее несколько дней, почти не чувствуя страха, когда над ним и вокруг него опять грохотало, кричало, свистело и топало. Это все было там, вовне, он же был целиком погружен в макромир того участка земли, в который упирался его взгляд. Изменение оттенков коричневого в глубинах разломов, неожиданное падение огромной земляной крошки в области переносицы, смещение черных теней на рассвете на периферии зрения, у левого виска – таинственные тектонические процессы, сокрытые от посторонних. Элементарная жизнь свершалась перед ним, случайным ее свидетелем, и была она мощной и бесхитростной. Он еще подумал тогда, что, наверное, ни один человек в мире никогда не видел того, что видит он – тихое движение неподвижной земли.

Был момент – уже после того, как отгрохотало – он испугался, что слепнет, потому что коричневое стало завлакивать нерезким черным. Но потом догадался, что между его лицом и землей пролез муравей. Размытый близостью до полного расфокуса, муравей занялся было какими-то копательными работами прямо у него перед глазом, но не преуспел и попытался выйти с той стороны, где правый висок вплотную прилегал к земле. Алексей тогда с тревогой ждал, что муравей, неровен час, заползет в глаз, но, к счастью, не случилось.

Дождь шел только один раз и не доставил особых неприятностей – было тепло.

Потом у него начался крайне неприятный бред: он очень толстыми подушечками пальцев, как будто распухшими от множества укусов пчел, пытается взять что-то очень тоненькое, вроде шелковой нитки, а она все теряется у него между этими страшными гигантскими пальцами. Это, пожалуй, было самое мучительное за все время. Само приближение смерти – а он слабел и понимал, что скоро умрет – было на редкость спокойным. Просто безразличие к себе как, в общем-то, к постороннему существу. Жизнь свою он и не вспоминал, как будто ее никогда не было.

Тут его и перевернули две пары рук – местные собирали покойников в братскую могилу. Подняли, удивились, что теплый, послушали сердце – не прослушалось, но увидели, что он моргает – оказывается, он мог моргать. Потом небо обрушилось в его несчастные моргающие глаза, и диафрагма опять свернулась.

В госпитале он, наоборот, стал вспоминать. Понемногу – детство, мать, их дом на Новой дороге. Он был очень тихий мальчик-подросток при строгом отце, который по долгу службы в НКВД постоянно все скрывал и замалчивал – и это перекинулось и на обычную жизнь; при деревенской матери, которая отца побаивалась, как существа высшего, городского происхождения.

Все в его жизни было как у всех: и старательно проращиваемые былинки во всех положенных местах, и абстрактные мечты, и конкретные сведения от «знающих» одноклассников, каковые сведения, в отсутствии опыта, выглядели тоже довольно абстрактно. Он, может быть, сторонился раскованных игр с девчонками, которые быстро переходили в тискания за домом, даже чопорные школьные вечера с вальсами для него были серьезным демаршем, но ни сам себя, ни кто другой его ни странным, ни кем-то «не от мира сего» не считали. Он был как все. Но с одной тайной. С параллельной жизнью – чужой жизнью, в которую он уходил, как иные уходят в чтение или черно-белый киномир.

Ему стыдно было в этом признаться даже себе, но он следил за своей теткой Таисией, младшей сестрой отца.

Ну, как он мог следить. Просто ходил за ней на расстоянии. Ну, прятался иногда за углом. Просто ни тетке, ни кому-то еще не приходило в голову, что такое возможно. Подслушивал иногда, сопоставлял, делал выводы, складывал в копилку.

Он не был в нее влюблен – ни боже мой – но она его завораживала. Он всегда был наблюдателем, и за броуновской теткой жизнью он следил, как за изменчивым пламенем костра – широко раскрытыми остановившимися глазами.

Она была старше на четырнадцать лет, инвалид с детства – что-то случилось с ногой, в шестнадцать высохла, скрутилась в маленькую козью ножку, что особенно конфликтовало с ее мощной телесностью: огромная грудь, сильные плечи – приходилось же таскать на костылях все тело. Вообще все у нее было крупное, мясистое: и рот, и нос, «Бог семерым нес – одной приставил», и даже белокурые локоны, до того густые, что казались сделанными из ниток.

Несмотря на увечье, у нее было очень много поклонников. Клевали, конечно, и на этот праздник торжествующей плоти, но и на характер, удивительно легкий. Она никак не переживала ни по поводу своей инвалидности, ни по поводу внешности. Смеялась колокольчиком, любила неприличные шутки, с легкостью обманывала, предавала по-мелкому, была болтлива и забывчива... Толпы поклонников, фотографии красавцев с тонкими усиками, надписи «Таечка, понимаю, у вас есть праздничные – готов стать будничным!»

Все это происходило у Алешки на глазах: поздние возвращения в сопровождении терпкого винного запаха, ворчливые стенания баночки (так они звали бабушку) с печки, обжимания в сенях – «А ну брысь отсюда, мал еще!»

Ему нравилось ходить за ней, когда она гуляла с подругами по Немецкому кладбищу – такое странное было у них развлечение, просто гулять, читать надписи на могилах, показывать друг другу, если кто-то умер совсем молодым – иногда даты сопровождались объяснениями, отчего умер. Жалели детей, показывали смешные фамилии, равнодушно проходили мимо доктора Гааза, разве что на фамилию обратив внимание. Но вообще любили старые немецкие памятники, торжественные, с красивыми статуями, отполированными ангелами и основательными крестами – их выискивали, как белые грибы среди сыроежек, но в основном знали наперечет, почти все они были у входа.

Смотрел на нее с печки, когда бабушка уходила к соседке. Тетка, не подозревая о его присутствии, охорашивалась у зеркала, мерила иногда вещи его матери, своей золовки, которые ей не лезли, разве что чернобурая горжетка. Красила губы, напевала. Несмотря на грубость черт, она чем-то неуловимо напоминала Марину Ладынину, знала об этом, и любила потому песни из ее репертуара. Слух у тетки был очень хороший, и голос звонкий: маленькой ее бабушка водила петь на клирос; она и теперь могла затянуть «Рождество Твое, Христе Боже наш...», но только чтобы подразнить – смысла того, что пела, не понимала, а слова «звездой учасуся» и вовсе ее веселили. Она набирала полный рот шпилек, прикалывала свои мясистые локоны к макушке и напевала сквозь эти шпильки, перескакивая с «Мы мирные люди, сидим на верблюде и кушаем сладкий пирог» на «Царице моя преблагая». Алешка смотрел.

Больше других ему запомнился один случай. Это был год тридцать восьмой, то есть ему было уже пятнадцать.

В этот день она как раз пошла в кино с ухажером по имени Жоржик. Алешка шел за ними, но в зал не пошел – уже пробовал: следить за затылками оказалось неинтересно. Ждал у выхода. Смешался с толпой. В кино ходили в «Родину» на Семеновской, потом обычно шли пешком домой или по Яузе, или через Госпитальную. Сейчас они не пошли так, а отправились в другую сторону, к Благуше.

Щербаковская была неширокая улица – он шел по другой стороне чуть поодаль и видел, как Жоржик пытается обнять тетку за талию. Он был из недавних поклонников и еще не знал, что костыли не дают такой возможности. Тетка на ходу что-то сказала ему, он оставил попытки, положил руку на ходуном ходящие плечи, под которыми скрипели уключины костылей. Потом они свернули в переулок, к Хапиловке. Алешка заколебался: даже для жителей Госпитальной Хапиловка была опасным местом – преследование на сегодня можно было завершать. Но решил пройти еще чуть-чуть. Застал, когда они входили в парадное. Остановился, раздумывая. Из парадного вышла молодая бабенка, стала собирать белье, развешанное во дворе, остановила на нем взгляд. Он поспешно шагнул в парадное соседнего дома. Стал медленно подниматься по щербатым ступеням, раздумывая, что делать дальше. Между вторым и третьим этажом оста-

новился, подошел к небольшому полукруглому окошку – оно было почти у пола. На третьем, наверное, жарили мясо – пахло очень вкусно. Ниже плакал ребенок, совсем маленький. Уронили со звоном какой-то предмет, громко заругался женский голос. Потом хлопнула дверь, кто-то медленно, шаркая, пошел вниз. Он нерешительно тоже сделал несколько шагов уходить, но по уже выработавшейся привычке использовать на предмет «видно – не видно» любые окна и щели, наклонился и глянул в окошко.

Сразу увидел тетку. Она тоже стояла у окна в доме напротив ниже этажом и смотрела вверх – как будто на него. Он отпрянул. Шаги тем временем дошаркали до него, остановились. Это был дядька в растянутой майке и очень старых галифе, пьяный. Он погрозил Алеше пальцем и, качнувшись, пошел дальше. Алеша осторожно, сбоку, подошел к окну, опустился на колени, оперся рукой о грязный пол.

Тетку, видимо, позвали из глубины комнаты – она оглянулась и отошла от окна. Возник Жоржик с подносом – на подносе бутылка и миски с закуской. Она села за стол. Жоржик опять вышел и вернулся с кирпичом хлеба, стал резать. Сидели, смеялись, разговаривали.

Алеша уже было заскучал, тем более что от мелких камешков и щепок на грязном полу, которые вдавились ему в колени, стало больно, и собрался уходить. Он боялся быть застигнутым за наблюдением и все время прислушивался к звукам в подъезде – не хлопнет ли дверь, не пойдет ли кто по лестнице.

Но тут случилось нечто, неожиданно поразившее его. Очевидно, Жоржика позвали – он, полуобернувшись в сторону двери, что-то крикнул, нахмурился, крикнул опять, потом встал и, мимоходом погладив тетку по шее – та засмеялась и махнула на него платочком – вышел из комнаты. Тетка осталась сидеть. Алеша видел, как она сразу ссутулилась, опершись руками о края стула, потом выпрямилась, запустила руки себе за ворот, поправляя бретельки бюстгальтера. Повертела головой, разглядывая комнату. Жоржик все не шел. А потом она стала ковырять в носу.

Вот это было абсолютно естественно – и абсолютно невозможно. Она ковырялась в носу, как он, как, наверное, все люди на земле – наедине с собой, и как четырехлетние Зейка и Татка из соседнего барака – явно, но она была женщина, взрослая, желанная, которая только что культурно пила чай и флиртовала, и вот так обыденно, в ряду прочих действий, запустить себе палец в нос, извлечь из него козьявку и, недолго думая, вытереть палец, прилепив ее снизу к крышке стола?

Алеша медленно поднялся. Ему стало не то чтобы противно, но степень откровенности чужой жизни, свершившейся перед ним, превысила допустимое и возможное. Он машинально отряхнул брюки, очистил руку от прилипшего мусора и стал спускаться по лестнице, все быстрее и быстрее. По Щербаковской он уже шел очень быстро, почти бежал, неотцепленная щепка с грязного пола висела на его штанине, на руке остались синеватые вмятины. Он потерял границу.

Теперь и всегда при приближении к нему живого существа – не физического приближения, а в процессе жизни – он будет испытывать что-то сродное панической атаке. Дружба, любовь, сочувственное покровительство, дети, женщины, старики, мужчины – чем значимее они становились для него, тем некомфортнее ему было, душно и тошно, и душа замирала от этой вибрации в пугающей близости, как будто приближение есть только средство неминуемо увидеть извлеченную на свет козьявку, которая так болезненно задевает его безоболочное существо. Нет, возможно, это и не было никак связано с той трагикомической козьявкой. Либо она просто стала неким катализатором или, точнее, лакмусовой бумажкой. Он не думал об этом и, конечно, вряд ли бы увидел здесь какую-то причинно-следственную связь.

За теткой он при этом продолжал ходить, и даже пару раз побывал в том же подъезде – но один раз дело было вечером, и они закрыли шторы, другой раз его спугнули. А потом отношения у тетки с Жоржиком сошли на нет.

Но лежа в госпитале, он почему-то часто вспоминал эту историю. И даже думал иногда, что его вынужденное глядение в землю в течение нескольких дней – не расплата ли за эти наблюдения за теткой? И, что интересно, страсть к рисованию зародилась в нем примерно тогда же, в «теткины времена».

«Ты чего?» – «Устала». – «И всё?» – «А ты как думаешь?» – «Ленька». – «Именно». – «Опять то же?» Ирка задумывается над ответом, Регина пишет с середины фразы вслед за Машной: «...социально-политические условия не позволяли...». Вся страница уже в таких полуфразах.

Ирка принимается строчить в ответ целое послание. Перед ней, рядом ниже, макушка Ани Федорчук из второй группы. Аня ест под партой бутерброд. Она работает учительницей начальных классов, девчонки недавно смеялись, что ее в школе дети и коллеги зовут Анна Алексеевна, чудно как-то, ей вот только двадцать стукнуло. Аня отламывает маленький кусочек, наклоняется и кидает в рот. Не жует. То ли глотает, то ли он у нее там растворяется. Регина перед лекцией, давясь, заталкивала внутрь свой. Но Машная, войдя, сразу орлиным глазом выхватила ее, поспешно встающую, роняющую тетрадку на колени и комкающую бумажный пакет. Интеллигентно засмеялась и сказала:

– Кушайте, кушайте, не беспокойтесь!

Регина сразу возненавидела ее за это и решила филонить. А Ирка в принципе не учится. У нее папа где-то «там», настолько «там», что даже лень учиться на дневном – там надо рано вставать.

Ирка написала неожиданное: Ленька бузит – не хочет подвозить девчонок после лекции. Он себя чувствует личным шофером. Жалко. Его «Победа» существенно помогала делу. Регина успевала на 21:40. Ну ладно, не до богатеньких Иркиных мальчиков.

Она не могла понять, почему Ирка с ней дружит. Возможно, это был тот обязательный процент демократизма, который полагался каждому члену их семьи. Но скорее всего Регина выполняла роль компаньонки. Они обе были примерно одинаковых средних способностей, но Регина – «рвалась», а Ирка нет. Регина ей поставляла материал, почерпнутый в редакции, на том уровне, который Ирка и сама Регина могли усвоить, и Ирка им блистала в своем обществе. Сама же она давала ей возможность к этому обществу приобщиться. Они даже вместе готовились к сессии у Ирки дома. Мама у нее была славная, тоже очень «простая».

«Я вот что думаю. Я думаю, вот мы ждем любви, да? Я так жду, что, если она случится, я просто не выдержу ее. Понимаешь? Так жду, что не выдержу. Вот я, допустим, влюбилась в человека. И он такой! Такой, что я говорить с ним не могу. Я его недостойна. Он умнее в сто раз, и красивый, и вообще. И талантливый очень. А я что! А в другого я не могу влюбиться, мне неинтересно. Мне надо, чтоб тянуться, расти. Но я до него никогда не дорасту. И вот представь, он вдруг, допустим, обращает на меня внимание. Вот подходит и говорит мне: «Давайте встретимся!» – и я... не знаю, я в обморок упаду. Или заплачу. Или не знаю, но все равно не смогу с ним общаться. Я не знаю, как с ним общаться. Понимаешь?» Регина представила Половнева, как он недавно пил чай у них в редакции, его острые глаза под густыми кустистыми бровями, тихий, но твердый голос, и чуть не заплакала.

«Значит, не твой человек, – жестоко ответила Ирка. – Своего – не испугаешься».

Регина неожиданно для себя опустила лбом на парту и шмыгнула вдруг набухшим носом. На чулок капнула слеза, быстро впиталась.

Ирка поспешно пихнула ее в бок.

– Простите, вам плохо?

Машная. Есть же люди, которым доставляет удовольствие демонстрировать свою интеллигентность.

Поднять голову было невозможно, не ответить – тоже.

– У нее приступ астмы! – звонко отрапортовала Ирка над ухом. – Ольга Кирилловна, разрешите нам выйти!

Регина не знала, как изображать астматичку, поэтому на всякий случай согнулась, как когда болит живот, и зажала рот рукой. Это больше смахивало на приступ тошноты.

Поспешным аллюром они скатились по ступенькам, добежали до туалета, Ирка тоже давилась – от смеха и, едва оказавшись за дверями, расхохоталась во весь голос. Смеялась она потрясающе: всегда с таким аппетитом, что нельзя было не улыбнуться на этот смех. Регина вновь неожиданно для себя заплакала, тоже в голос, согнулась в три погибели и, не удержавшись, встала на колени, а потом повалилась на бок, уткнулась в холодную плитку пола.

– Гулька, ты чего? – испугалась Ирка.

Она схватила ее под мышки и стала тянуть наверх, Регина с удовольствием обвисала на Иркиных руках. Ей было очень плохо, хотя в глубине души она отметила, что плачет немного похоже на Тарасову в «Без вины виноватых».

Ирка отстала, Регина вновь повалилась на пол, беззвучно содрогаясь. Она задыхалась от слез и соплей, но вытереть их было нечем, разве рукой, что было неудобно перед Иркой. Полежала еще немного, сочась слезами. Потом, отворачиваясь от Ирки, кое-как встала, нависла над раковиной, умылась.

Села, прислонившись к стене у раковины.

– Ты чего? – опять спросила Ирка, присев рядом с ней на корточки.

– Не знаю, – в нос ответила Регина. После непонятого отчаяния наступила такое же непонятое безразличие.

– Переутомилась, дорогая. Эти твои электрички плюс работа. Ты что, семижилльная?

– Наверно, – равнодушно сказал Регина. – И что?

Ирка вздохнула.

– Умойся, сейчас пара кончится.

В дверь заглянула круглолицая девчонка. Помялась в дверях. Регина, не поднимаясь с пола, снизу вверх мрачно поглядела на нее.

Девчонка еще помялась. Вздохнула. Вышла.

– Это знаешь кто? – оживленно сказал Ирка.

Регина перевела на нее глаза.

– Тамарка, со второго курса. Про нее девки говорят, совсем дурная. Вот знаешь Марину Артавазян, мы с ней, помнишь, в буфете...

Регина кивнула, перебивая – знает. Ей не хотелось здесь сидеть и слушать Ирку. Но в аудиторию тоже не хотелось. И домой тоже. Сильнее всего не хотелось домой.

– Так она Марине сказала, что если «Казбек» или «Беломор» год продержат на батарее, то потом от одной папиросы можно... это... ну, он вроде наркотика становится.

С курносой и круглолицей девахой это плохо сочеталось.

– Только я думаю: а как она год на батарее держит? Она что, год держит, выкуривает пачку, кладет новую – и еще на год? Или у нее они разложены по всем батареям. Как вино. Или варенье. Урожай такого-то года. Март. Апрель...

Ирка засмеялась. Вскочила. Протянула Регине руку.

Той хотелось побыть еще в таком безысходном ощущении, как будто затихнуть на дне. Преодолевать это невнятное горе было немного оскорбительно по отношению к нему, поскольку означало, что оно преодолимо. Хотелось же абсолютного состояния.

Но в туалет стали заглядывать девчонки, да и пора было домой. Пришлось встать.

На следующий день у нее был зачет по старославянскому.

Вообще-то он ей плохо давался – как и английский. Особенно трудно было переводить маленькие текстике без указания откуда и с очень странным смыслом. Например, на зачете в

зимнюю сессию ей попала какая-то буквально ахиня с бесконечным повторением про кого-то, кто сделал что-то кому-то, а потом его совсем другой человек за это благодарил. Тот первый удивлялся: когда я это тебе делал? А который благодарил, отвечал, что, мол, сделал не ему, но как бы ему. Она измучилась, пытаясь найти смысл, но таки запуталась во всех этих благодеяниях по цепочке. Хорошо было только то, что там повторялись одни и те же слова – жаждал, был голоден, дал кров... При переводах она обычно отталкивалась от ключевых слов, а остальное допридумывала. С английским вполне проходило. Один раз, сдавая «тысячу», она вообще не стала переводить, а просто три раза подряд перечитала нужный кусок Диккенса на русском и пошла сдавать. Получилось. Но сегодня, взяв листочек с текстом, она ничего не могла перевести, потому что не понимала в принципе, про что это. Несмотря на ключевые слова. Помучила и села так. Стала что-то импровизировать, в основном напирая на то, чтобы угадать в каком времени глагол и в каком падеже существительное. Даже, напрягшись, удачно нашла пример второго южнославянского влияния. Она надеялась, что это как-то отвлечет от текста в целом. Но преподаватель старославянского, аспирант со странной, тоже какой-то старославянской фамилией Векша, все время возвращал ее к смыслу и в результате, стесняясь, перевел все за нее (она с надеждой подумала, что, может быть, она ему нравится). Честно говоря, Регина и после его перевода не очень поняла, про что это. Он догадался.

– Вы знаете, что такое Пасха? – тихо спросил он, глядя на нее через очки. Очки были прямо категорические: с толстыми стеклами, а внизу такие вставочки овальные, еще толще.

– Это... такой религиозный праздник, – сказала Регина.

Когда она еще жила дома, бабушка Рая пекла куличи: загодя ставила тесто в большие кастрюли, накрывала Региниными детскими пальто, вставала проверять в пять утра, гремела, все ругались, она тоже, в пять еще было рано, вставала в семь – а тесто уже вывалилось из кастрюли и лижет пальто, она ругалась и опять гремела. Потом пекла вкусные, сдобные, такие плотные, что нож входил, как в масло, куличи. На следующий день их ели и говорили: «Христос воскрес!» Потом все ездили на кладбище, и там среди могил попадались крашенные луком яичные скорлупки и иногда кусочки кулича. Один раз после кладбища зашли в церковь – дело было днем, там было пусто и прохладно. Вышли быстро.

Векша поправил очки и больше ничего не спросил.

Зачет она получила.

Регина села в электричку в приподнятом состоянии духа. Было уже довольно поздно, но завтра воскресенье, можно выспаться, потом морально отдохнуть от сброшенного старославянского груза. Она стала обдумывать идею, что нравится Векше. Он, конечно, с виду не очень, но зато интеллигентный и, возможно, будет профессором. Она бы носила фамилию Векша, Регина Векша, и бледный Половнев тогда бы пожалел обо всем, особенно когда пошли бы дети.

Тут она и заметила сидевшую через проход, наискосок, Машу Тарасевич.

Маша пришла к ним на курс в этом году, перевелась с дневного. Регина обратила на нее внимание на английском, когда та не смогла перевести какой-то кусок текста. Это Регине понравилось – теперь она не была самой слабой в группе. Маша была невысокая и крепко сложенная, с легкими белыми волосами, из которых не делала никакой прически – они просто висели вдоль лица. Регина слышала, что Машин папа какой-то не то чтобы известный, но довольно серьезный хирург и что жила Маша почти в центре Москвы, на Полянке.

Маша улыбнулась ей и указала на свободное место рядом с собой. Регина пересела.

– За город? – спросила она очевидное.

Маша кивнула.

– На дачу?

– Нет.

Помолчали. Вообще-то в этом месте Маше полагалось бы объяснить, куда же она едет на ночь глядя, но она молчала и улыбалась.

– Зачет сдала? – Регина решила спасти ситуацию.

– Ага.

– Я тоже. Думала, не сдам, – события зачета, окрашенные легкой романтической интонацией, до сих пор приятно будоражили: – Текст достался – вообще ничего не понять. «Ушами слышат, глазами видят...» Бред какой-то, чем еще слышать-то?

– А ты не знаешь, откуда это? – спросила Маша.

– Какой-нибудь ранний автор, наверное, не сохранился. Или береста, не знаю.

Помолчали. Маша внимательно глянула на Регину – та мгновенно учуяла изменившуюся атмосферу – и отвела глаза. Задумалась, глядя в окно, как будто забыв о Регине.

– А у тебя что?

– У меня... – Маша опять глянула на Регину и перебила сама себя, – ты правда не знаешь, что это за текст?

Регина пожала плечами: вряд ли имя автора прояснит его смысл.

– Это же Новый Завет.

Вот те на! Она молча повернулась к Маше, уставилась на нее, вытаращив глаза.

– А на каких еще источниках изучать старослав? – с напором спросила Маша, не давая ей ни спросить, ни возмутиться, – все оттуда! Это же база, вся древнерусская литература стоит на нем.

– Но религиозная пропаганда запрещена, – почему-то понизив голос, сказала Регина.

– Потому и не указывают, откуда это...

Регина ошалело замолчала, села ровно, переваривая. Романтический дымок таял на глазах: чего доброго, будущий профессор Векша – верующий. Это в середине двадцатого века! То есть он жжет свечи, поклоны бьет у темных икон? Все сходилось: скромный и для аспиранта пиджак, усы, даже очки теперь казались какими-то религиозными. Говорит тихо...

– А что, Векша верующий? – как можно небрежнее спросила она.

Маша пожала плечами и сразу заговорила о предстоящем экзамене по зарубежке: по слухам, зарубежник Быков был столь умен, сколь и любвеобилен, что притягивало филологических девственниц сильнее, чем сияние потенциальной Векшинской святости.

Маша вышла в Переделкине. Регина вспомнила: говорили, что на дневном у Маши была своя компания – несколько девочек и еще сын известного поэта, который учился, естественно, в МГУ. Наверняка он живет в Переделкине. Они все сейчас соберутся у него в гостях. Странно, что она едет одна. Некоторое время она еще лениво думала то о Векше с его святыми текстами, то о Маше, но глаза стали слипаться, ехать было еще долго, и она задремала.

Проснулась она как раз перед выходом – привычка. Вышла, машинально обратив внимание, что на выход собралось больше народа, чем обычно.

По квартире плыл сдобный запах, а в воздухе висел скандал. Кузин куда-то не пускал Верку, сначала угрожал, потом жаловался, что узнают и его уволят. Регина не вникала и, только выйдя на кухню и обнаружив крепенькие коричневые куличи, наконец свела воедино выходящее из электрички многолюдье, в основном бабок, крепко, наподобие этих сдобных куличей, замотанных в платки, кричащего Кузина и запах. Пасха! У них в городе был большой старинный собор, незакрытый, бабки съезжались со всей округи, а Верка уже давно собиралась пойти смотреть крестный ход и ее звала. По Кузину было видно, что он испугался не на шутку: ему должны были дать старшего лейтенанта и обещали квартиру, и теперь все могло пойти прахом, из-за одной только Веркиной упрямой теории предназначений.

Хорошо, что он упомянул квартиру. При слове «квартира» Верка задумалась. Кузин воспользовался и дождал. Остановились на компромиссе: кино. В «Рассвет» как раз привезли «Большие маневры» и, наверное, чтобы привлечь колеблющихся, давали совсем поздний сеанс, в 23:30. Регину позвали с собой.

Странные совпадения: вопрос Векши про Пасху, рассказ Маши про текстики, и вот это. Может быть, это что-то значило? Может, стоило пойти на крестный ход? Совпадения не могут быть просто так. Может быть, она в церкви встретила бы какого-нибудь интеллигентного, но заблуждающегося человека? Но, может быть, она встретит его и в кино, коль скоро Пасху заменили фильмом?

Она решила идти.

Верка уложила девочек, Дилия обещала присмотреть, если что. Вышли.

На улице было тепло – конец апреля. Шли не торопясь – до кинотеатра было недалеко. Регина редко бывала на улице в такое время. Вернее, почти в такое она возвращалась с лекций, но там было ни до чего, добежать бы и спать скорее. Сейчас она шла медленно, чуть отстав от Кузина с Веркой под ручку, вдыхала влажный воздух, смотрела по сторонам. В черноте воздуха горели редкие окна, тусклые желтые круги фонарного света сменяли друг друга через черное пространство, она вступала в эти круги, из-под ног вырастала маленькая черная тень, росла, тянула за пределы круга, потом размывалась до серой и растворялась у границы черноты. Звонкий чекан Веркиных каблучков в темноте – и все заново. Мимо пробежали две девушки, спустя мгновение сквозь Регину, догоняя хозяек, нежно прошла волна «Камелии». Регина улыбнулась, закинула голову к небу, белым точкам звезд и стала вспоминать Половнева. Было так тихо, и тишина была наполнена таким восхитительным, замирающим предчувствием чего-то, что думать было можно только о нем.

И в кинотеатре она сначала смотрела фильм рассеянно, стараясь сохранить в себе это чувство, воспоминание тихой улицы, да что улицы – земли, как будто таинственно замершей в ожидании некоего чуда. Однако фильм оказался романтическим, с Жераром Филиппом, и к середине она увлеклась сюжетом и игрой актеров. Про ощущение было забыто. Из кинотеатра все выходили в приятной грусти, не спеша растекались по переулкам. Спать совсем не хотелось, и обратно решили пойти другой дорогой, более длинной. Пересекли несколько улиц. Верка задержала шаг, стала смотреть направо – в глубине улицы стоял большой собор, тот самый. Окна в нем горели. Она вопросительно взглянула на Кузина, Регина тоже. Тот оглянулся – оцепления вокруг собора уже не было.

– Хер с вами, – сказал Кузин. – Только недолго.

Как заговорщики, они двинулись в сторону церкви, рефлекторно оглядываясь по сторонам.

Первым зашел Кузин, потом Верка. Регина вошла последней.

Первый и единственный раз, который она себя помнила в храме, был тот самый заход после кладбища в пустую и темную церквушку. Никаких других воспоминаний, кроме того, что пустота и темнота там были непривычные и не похожие ни на пустоту школьного коридора во время урока, ни на темноту парадного, когда там перегорала лампочка.

Она вошла – и эта церковь оглушила ее.

Там было очень светло, неожиданно светло, особенно по контрасту с темной ночной улицей, золотой свет заливал все пространство. Очень жарко. Церковь была абсолютно заполнена народом. Почему-то у Регины осталось ощущение, что она выше многих и смотрит как бы поверх голов. Она что-то помнила про головные уборы, но никак не могла вспомнить, надет он должен быть в церкви или снят, и на всякий случай стащила с головы берет. От растерянности она никак не могла ни сообразить, что же на головах у присутствующих, ни даже различить мужчин и женщин. Громко пел хор где-то впереди. Все головы были вздернуты и повернуты в одном направлении. Она тоже задрала подбородок, но ничего не увидела, кроме бесконечных затылков. Впереди наметилось едва заметное колебание, тающая дорожка – это пробирался Кузин, за ним Верка. Она сделала несколько шагов, и остановилась. Вспомнила про крестный ход – это он и есть? Или когда он должен быть? В чем он вообще заключается? Далеко впереди что-то выкрикнул одинокий голос.

– Исссн... ресс!.. – выдохнул храм.

Она отвела глаза от затылков. Сбоку от нее, через пару человек, на подсвечнике плавились свечи. Над ними дрожало марево горячего воздуха. Одна свеча, дойдя до основания подсвечника, затрещала золотыми искрами и погасла. Вытянулся и растаял прозрачный серый завиток.

Далекий возглас.

– Исссн... хресс... – опять выдохнули все.

Последовали еще какие-то протяжные слова, перемежаемые пением хора, потом на мгновение стало тихо, и в этой внимательной тишине вдаль, еще дальше, чем ранее кричавший человек, кто-то отчетливо затянул:

– В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...

Регина почувствовала, что ее горло сводит судорогой. Стало нечем дышать, затошнило. Она испуганно оглянулась – оказывается, она прошла далеко, толпа сомкнулась за ее спиной, и выйти было бы трудно. Решив терпеть, она сделала несколько глубоких вдохов, но стало только хуже. Голос впереди сменился другим, который вдруг заговорил по-гречески, потом еще один по-латыни – она обрадовалась, что узнала их – потом английский... на лбу выступил холодный пот, одновременно ее зазнобило и уши как будто бы заложило слоем ваты. Она поняла, что надо выходить любой ценой, повернулась и стала пробираться к выходу сквозь молчаливую толпу. Никто не делал ей замечаний, чего она боялась, только стоявшие столбиками люди отклонялись, насколько могли, чтобы она прошла. Ближе к выходу она почувствовала, что в глазах у нее темнеет, а пение сзади, сменившее этот многоязычную переключку, почти не пробивается сквозь ее вату. Регина заторопилась и, уже не видя ничего, падая вперед корпусом, за которым едва успевали железные подгибающиеся ноги, не заботясь о том, сшибет ли кого, кинулась к двери, у которой на низеньких табуреточках и просто на полу сидели старухи.

– Ой, падает, дяржи, дяржи! – падая, она успела отметить это диалектное «яканье», схватилась за дверь и, повиснув на ней, вывалилась наружу.

Отпустила дверь – та громко бамкнула за ее спиной, и с этим звуком заложенные уши вдруг пропустили первый свежий звук, а по спине потекла струйка пота. Регина почувствовала, что взмокла, как мыш, и что ноги по-прежнему ее не держат. Она опустилась на корточки, привалившись к стене собора спиной, и стала открытым ртом ловить воздух, который не достигал ее легких. В глазах все еще было темно.

Через несколько мгновений дверь стукнула еще раз, выпуская Кузину и Верку.

– Ты чего, мать? – Верка села перед ней на корточки.

– Крестный ход... когда будет? – почему-то спросила Регина, задыхаясь. Она совсем не собиралась на него оставаться, просто надо было что-то спросить. Из темноты постепенно проявлялись очертания, забелело Веркино лицо.

– Так был уже, студентка! – весело сказал Кузин. – В двенадцать ровно. Мы в киношке были.

– В двенадцать... – сказала Регина. – Не знала...

– Идти можешь?

Она попробовала подняться; опираясь на стену, встала. Дыхание как-то само постепенно вернулось, но было еще темновато в глазах и познабливало.

– Съела, что ль, чего? Или не ела?

– Точно. Не ела.

Она обрадовалась, что нашлась разумная причина произошедшему кошмару. Она же не ела с утра с этим зачетом. А здесь духота, жар от свечей, народищу набилось.

– Ну, пошли.

Они не спеша пошли, и ночь была по-прежнему черной и влажной, но к ней примешались досада и разочарование, как один раз на зачете по марксизму, когда она знала, но не смогла ответить, и ее отправили на пересдачу. Разочарование и чувство вины.

Маша Тарасевич ехала в Переделкино на Пасхальную службу. Это был один из тех редких дней, когда она решила выбраться куда-то. Все время Маша проводила в больнице у мамы. Мама умирала от рака, и все, даже Маша, понимали, что ей остается несколько дней, не больше недели.

Ей позволяли постоянно находиться в палате, потому что ее папа был заведующим хирургического отделения. У нее был свой белый халат и смена к нему. Она принесла в больницу тапочки и любимую чашку.

Ей все время хотелось спать. Это был ее секрет. Она спала урывками, забываясь на час – полтора. Когда нянечка меняла ее и думала, что Маша спит – Маша не спала. Она лежала на соседней койке – у мамы была двухместная палата, в которую больше никого не клали – и слушала мамино дыхание. Дело в том, что она ждала, когда мама позовет ее. Она была уверена, что мама должна была позвать ее перед смертью. Дело в том, что они как бы поссорились несколько дней назад. Не то чтобы поссорились. Маша даже не поняла, что это было.

Несколько дней назад они вместе послушали радиопостановку «Шиповник» по Паустовскому, а потом Пятую симфонию Чайковского (Маша мысленно перевела дух, что не Шестую). Радио она не выключала – оно постоянно звучало тихим фоном. Устав от постоянного недосыпа, она прилегла на койку и задремала. Проснулась вроде бы ни от чего, но потом услышала, как мама еле слышно повторяет: «Выключи» – она теперь говорила очень тихо, еле слышно. По радио журчал духовой квартет. Она тут же вспомнила, как еще давно мама рассказывала ей, что однажды заснула под включенное радио и ей приснилась собственная смерть, и в тот момент «играли какие-то дудки». С тех пор она не любила духовые. И надо же такому случиться. Конечно, Маша выключила радио, как можно быстрее. Подошла к кровати. Мама лежала с закрытыми глазами. Она все время лежала с закрытыми глазами и было непонятно, спит ли она. Если тихо позвать ее: «Мам...» – то она отзывалась слабым шелестом: «А...» – но после этого ни на какие вопросы уже не отвечала. У нее, к счастью, кажется, не было болей, только сильно тошнило пару дней, но теперь и это прекратилось.

Когда радио замолчало, стало совсем тихо. Потом пошел дождь, зашумел по подоконнику. Мама что-то прошептала. Маша наклонилась к ней.

– Еще дождь... – услышала она. – Еще и дождь...

Маша взяла ее за желтую высохшую руку. Тут-то все и случилось. Мама вытащила свою руку из ее. Сначала Маша не поняла и решила, что это произвольное движение. Она опять взяла мамину руку. И тогда мама с трудом повернулась на бок. Отвернулась от нее. Это ей почти не удалось, плечо было повернуто, но нижняя часть спины осталась неподвижной. Однако этого движения хватило, чтобы ее рука выскользнула из растерянной Машиной. Уже догадываясь о невозможном – мама не хочет Машиного присутствия – но еще продолжая инерцию прежних отношений, Маша наклонилась над ней и тихо позвала:

– Мам...

Тогда-то она и услышала это. Тихий шелестящий голос, без участия связок, только неуловимым изменением выдыхаемого воздуха:

– Отстань...

Умиравший человек чувствует ужас и колоссальное одиночество, но обратиться к помощи людей уже не может, потому что более не принадлежит их миру. Она этого не знала, не знала про арзамасскую тоску Толстого, которая и была осознанием смерти. Она подумала, что в чем-то виновата. Но она не могла допустить, чтобы мама ушла, не простив ее. И значит, надо

быть начеку, надо дождаться момента, когда мама позовет ее, чтобы сказать те самые слова, которые она будет хранить всю жизнь. Она не спала и ждала.

Шел дождь, такой мелкий, что был неразличим в сером воздухе, и, если бы не шуршание по блестящему подоконнику, о нем было бы и не догадаться. Еще и дождь... Чтобы успокоить себя, Маша вспомнила другой момент – может быть последний, когда они с мамой были вместе по-настоящему. Это было неделю назад. Она уже почти ничего не говорила, но еще могла сидеть, и ее сильно тошнило. Была ночь, но нянечка еще не заступила. Мама сделала движение сесть, Маша подошла, подала ей судно, в которое она тошнила. Вышло совсем немного, даже желчи уже не было, скорее спазмы, чем рвота. Но, наверное, это выматывало маму даже сильнее. Она долго покачивалась над судном, которое Маша держала перед ней, потом слабо показала рукой – убери. Маша поставила судно на место и села рядом с мамой, чтобы она могла опереться на ее плечо. Тогда она еще не отстранялась – хотя, возможно, как Маша теперь думает, у нее просто не было сил на другие движения. И тогда Маша не выдержала, обняла маму и заплакала. Мама стала совсем маленькая и абсолютно скрылась в ее объятиях. Она не пыталась вырваться – почему? может, все же не только от слабости? – просто тихо качалась вместе с Машей. Потом Маша отпустила ее, и она легла.

У них в доме не были приняты объятия, вообще нежности и поцелуи. То, что сделала Маша, было удивительно для нее самой. Даже теперь, в такой предельной ситуации, она почувствовала неловкость, которая усугублялась еще и тем, что это не мама обнимала Машу, а наоборот. Мама всегда были сильным и жестким человеком. Машины объятия означали для них обеих только одно – понимание, что мама скоро умрет. Этими объятиями она сломала привычный образ их жизни, изменила естественные для них отношения. Это было ново и непонятно для обеих. Но, как выясняется, это было еще не все. Теперь мама сказала ей: «Отстань», – и это необратимо изменило их отношения еще раз, возможно, последний.

Маша тоже отметила Регину на том занятии по английскому, на котором не справилась с заданием. Ей тоже стало легче, когда Регина, отвечавшая после нее, стала запинаться и путаться. Она плохо сходилась с новыми людьми, потому что сразу решала, что они много лучше нее во всех областях жизни и учебы, и процесс сближения после знакомства был для нее процессом поиска доказательств, что это так и есть, что ее новые знакомые действительно умнее, красивее, талантливее, добрее, смелее. Так приучили ее родители. Не специально, конечно. Но мама была золотой медалисткой и в принципе не понимала, как можно получить «хорошо» или «уд». Она не сердилась и не ругала Машу – она искренне удивлялась. Лишь однажды она сказала:

– У тебя в роду четыре поколения женщин с высшим образованием. Женщин! Четыре! Ты – пятое.

Звучало как приговор. Мама закончила ИФЛИ, знала три языка в совершенстве. У папы за спиной был медицинский, у его отца – географический МГУ, у отца отца – то же самое, дальше след терялся.

Не то чтобы ей был нужен кто-то, над кем она могла ощущать превосходство, скорее она увидела в Регине то, что знала за собой, хотя и не сразу сформулировала: Машина мама была интеллектуалкой и круглой отличницей, но Маша что-то чувствовала в жизни, чего не понимала и не чувствовала ее мать. Она была в этом уверена. И, слушая блуждающую в *past perfect continuous* и пахнущую потом Регину, она вдруг почувствовала, что в ней тоже есть это понимание.

На прошлом курсе с Машей дружили лучшие девочки института. У них была своя маленькая компания – девочек, которые должны были бы учиться в МГУ, но по разным причинам не стали этого делать, а выбрали скромный Потемкинский. Фира Гельман, как и она, дочь врача-космополита. У Маши, правда, отца посадить не успели, а отец Фиры, член «Еврейского

антифашистского комитета», был расстрелян. У Ани Колосовской отец преподавал в Духовной академии, у Кати Турьлевой оба родителя – переводчики. И, наконец, жемчужина компании, единственный мальчик, и какой. Володя Смирновский. Любимый сын того самого поэта Смирновского, такой же красивый, как отец, с гудящим голосом, прядью на лбу и соболиными бровями. Филфак МГУ. Конечно, они все были в него влюблены, он же хранил нейтралитет. Но Катя однажды сказала ей по секрету, что Володя спал – спал! – с Фирой и что Фира ей сама проговорилась, когда они, отмечая Новый год, выпили много шампанского, но Фира категорически и возмущенно не подтверждала. Девочки считали Машу своей, но тем не менее что-то было в их отношении, что заставляло Машу считать, что в их негласной, неписаной, подсобной, решительно отвергаемой, если попытаться это озвучить, иерархии она занимала нижнюю ступеньку. В ней не было, как бы сказать, гонора. Ну, гонор – это нехорошее слово, но как-то она не могла подать себя, посмотреть снисходительно, многозначительно поднять бровь. Она не была стильной, не в смысле стилинга, а вообще ни в каком смысле.

Впрочем, возможно, она это все себе придумала.

Но Регина ей показалась близкой.

Рисунки Половнева, Регина, конечно же, сразу же изучила – все, что нашла у них в редакции, и пересматривала неоднократно. Ей так хотелось, чтобы они ей понравились, что она в результате не поняла, понравились ли они ей на самом деле.

Он рисовал угловатых людей, жесткими линиями. Люди выглядели комично там, где этого вроде бы и не предполагалось. Вполне нейтральные пейзажи вызывали глухую тоску. Он любил синий цвет, аквариумное синее свечение проступало даже в серых и коричневых гаммах.

Княжинская увидела, отобрала, просмотрела сама, перекинулась с подругой Серебровой многозначительным взглядом.

– Ну как тебе, Гуля, живопись? – иронично, с ударением на последнем слоге, спросила вдруг Регину.

Та постаралась кивнуть многозначительно и с одобрением, «в стиле».

– Талантливый засранец, – сказала Сереброва, – что говорить.

И опять переглянулись.

Вот не надо. Многозначительно очень всё. Очень многозначительно. Скажите пожалуйста.

Старуха Княжинская – пятьдесят лет! – по-прежнему жила женскими страстями. Она была кошачьей породы – не то чтобы похотливой, но изначально нацеленной на противоположный пол и подчиненной этой нацеленности. И при том, что она была умна, главным в ней было вот это кошачье физиологическое чутье, которое помогало ей делать безошибочные выводы и о людях, и об искусстве. Но и она, как Регине казалось, не все понимала о Половневе. Вот например. Если он талантливый, то должен в тридцать пять лет быть по крайней мере членом МССХ, а то и заслуженным деятелем искусств. Регина сама слышала, как Княжинская с досадой говорила об этом Серебровой: что, мол, не вступит в МССХ. Нет, раз он рисует иллюстрации рисует, то только профсоюз полиграфический – что за принципиальность.

Регина попыталась разобраться в нем сама, но тоже не все понимала. Вот, например, жены нет. Почему? Нет, она рада, конечно, что нет, но почему? Она примерила к нему несчастную любовь, болезнь, даже что-то про тяготение к другим мужчинам (слышала от Ирки) – ничего не подошло. Затем. Он был весь какой-то тихий, а выяснилось, что воевал. Это так ее потрясло, что она даже с недоверием перебила его, когда услышала «а вот когда мы на фронте...»

– Вы воевали? – удивленно спросила она.

– Воевал, – ответил он и сразу сменил тему, не стал рассказывать, что хотел.

Еще однажды оговорился вскользь, в придаточном: «Когда я понял, что меня сейчас будут бить, я сразу постарался встать спиной к забору, чтобы со спины никто не зашел». Это он пример какой-то приводил. Ничего себе! Кто это его бил и за что? Она примерила предательство, бойкот вследствие аморального поведения, воровство, ябедничество... Чушь, бред! Но ведь били? Потом она рассмотрела внизу подбородка шрам. Это вот когда били, наверное. Или на войне?

Что еще? Живет вместе с теткой, тетка – бездетная вдова, ровесница Княжинской, та ее знает, дальше линия опять обрывается.

Сначала относился к ней снисходительно, чуть иронично – это наверняка все потому, что она при первой встрече так обмишулилась, но потом у нее появилась возможность заявить о себе. Однажды, пользуясь небольшим перерывом – ждали верстку – разложила учебники, Княжинская не возражала, даже поощряла. Высшее образование, умная девочка, молодец. Вошли они с Княжинской – ходила курить и, видать, встретила. Он мазнул взглядом по тетрадкам:

– Английский?

– Старославянский, – подчеркнуто небрежно сказала она.

Он удивился, поднял брови, взглянул на Княжинскую. Она в ответ состроила рожицу – да, вот так, мол. Регина лихорадочно писала наобум «ВЪЛКОМЪ, ВЪЛЦЕМЪ», еще какие-то слова, в которых, как она помнила, должны быть «юс большой» и «юс малый» – очень красивые, такие типично старославянские буквы.

Больше он на Регину тогда не посмотрел, но она чувствовала: подействовало.

На всякий случай она бросила курить. Все равно это ей не доставляло удовольствия: после каждой сигареты тошнило. Он курил, но что-то подсказывало, что ей курить лучше не стоит. Вместе с курением сошла на нет лисичка Галя. Лисичка была ревнива, во-первых, да и Регине стало с ней скучно.

Он не был трус, но он не мог убить человека.

Однажды в детстве – ему было лет двенадцать, еще до тетки – он подрался с хулиганом из барачков. Рядом с их домом были бараки. Сколько там жило людей, никто толком не знал, а соваться, как в дореволюционную Хитровку, было опасно. Барачные своих не трогали: мать свободно возвращалась в час ночи (она занималась в театральном кружке Дома работников торговли), но их старались лишней раз не провоцировать. И вот Алеша подрался с Гришкой. Гришка этот был дебиловатый парень лет пятнадцати, похожий на вороненка из-за крупной головы, глубоко и криво, задирая подбородок, насаженной на короткую шею. У него был гайморит: Гришка всегда ходил, приоткрыв рот и часто моргая маленькими светлыми глазками, мутными, как будто все время слезящимися. Его воспитывала бабка, оба родителя сидели. Гришка был парень незлой, скорее увлекающийся. Он мог поймать тебя и начать выкручивать руки, но если ты, преодолевая боль, спрашивал у него подчеркнуто будничным голосом: «Гринь, а как наши вчера с «ЦДКА» сыграли?» (нашим, естественно, было «Динамо»), он тут же отпускал твои руки и увлеченно рапортовал. Рассказывал, кто ходил на матч, как прошли, за кем погнались и кого поймали. Он легко увлекался, просто надо было уметь направить его увлечение в нужное русло.

Однажды он увлекся свертыванием голов у голубей. Голубятню барачные не держали, но она была неподалеку, у госпиталя. Голуби были ручные, очень красивые, было даже несколько космачей. Гришка подманивал их зерном, хватал одного и молниеносным движением скручивал ему голову. Бывало, и отрывал, обнажая окровавленную палочку хребта, а потом выбрасывал – голову в одну сторону, тельце в другую. Мучить птицу совсем его не интересовало – ему нравилось, как резиново, но в то же время податливо рвется живая плоть. Он тренировался в стремительности скручивания, в том, чтобы как можно ловчее это сделать. Барачные мальки трепещущей группкой стояли вокруг него, и иногда он разрешал им попробовать, даже помо-

гал, показывал, как крутить. Редко кто-то решался: выходил, подталкиваемый товарищами, и Гришка ловил для него голубя. Обычно все заканчивалось плохо – неумело скрученный, голубь мучился и бился, и Гришка снисходительно заканчивал начатое. Алеша случайно попал на эти показательные выступления. Просто заинтересовался молчаливой группкой, объединившей ее атмосферой ужаса и замирающего любопытства, которая чувствовалась на расстоянии. Подошел – и застал как раз неуспешную попытку. Гладкий серый голубь в руках десятилетнего Мишки, выпростав одно крыло, судорожно бил им в воздухе, а Мишка растерянно тыкал голубем в Гришкину сторону. Алеша издали подумал, что Мишка мнет плотную серую бумагу и успел еще погадать, что это за новая оберточная бумага такого цвета, взамен обычной бежевой. А потом понял. Он больше не успел ничего подумать. Оглушительная ярость выросла где-то между ребер, подкатила к горлу и лопнула так стремительно, что у него перехватило дыхание и заложило уши. Он прыгнул в центр круга, как раз на Гришку, который милосердно завершал начатое Мишкой. Фактор неожиданности сначала сыграл в его пользу: Гришка, влекомый Алешей, упал, машинально, остаточным движением, бросая голубиное тельце в сторону, ударился головой, выплюнул: «Б...дь!», отбросил от себя Алешу, можно даже сказать, Алешино тельце – с такой же легкостью, как голубиное, но тот, не чувствуя ничего, кроме этой глухоты и невозможности дышать, бросившись опять, вцепился зубами Гришке прямо в кадык, и кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не примчался хозяин голубятни, старик Пархоменко, и не разнял их. Мелюзга разбежалась, Гришка, удерживаемый Пархоменком, рвался «кончить фраера» – он сипел, кадык стремительно отекал и наливался синевой, Алеша же почти не мог стоять. У него тряслись ноги и руки, но не от страха и не от ярости, а от некоего среднего состояния, как будто душа временно покинула тело, а оно, не поддерживаемое душою, норовило свалиться на землю. Он стоял, почему-то оперев одну дрожащую руку в бок (за вторую держал старик) и внимательно слушал, как кричат Гришка и Пархоменко. Эта спокойная внимательность в сочетании с лихорадочной дрожью его еще тогда удивила. Впрочем, старик быстро разобрался, кто развлекался с его голубями, Алешу отпустил, а Гришка был отведен в милицию. И отпущен. Закон о грубом обращении с животными – нонсенс для русского человека, который и собственную жизнь ценит не выше голубиной.

То есть получается, что он мог убить человека. Но только за животных. Потом, взрослым, он спрашивал себя, как бы он поступил, если бы увидел, что Гришка мучает ребенка, пусть даже откручивает ему голову – и признавался себе, что, конечно, совершил бы какие-то действия, но ни о ярости между ребрами, ни о дрожании рук речи не шло. Ребенок – будущий человек, а человек с человеком пусть сам разбирается. Звери же беззащитны и безответны, простодушны и смиренны. С годами он, при всей его наблюдательской страсти, чувствовал лишь нарастающее равнодушие, если не отвращение к человеку, который лишь потреблял и уничтожал: ел животных, носил их кожу, рубил деревья, пил воду, дышал свежим воздухом – и извергал одни отходы, оправдывая свое существование богоподобием или способностью творить произведения искусства, никому, кроме него, человека, и не нужные. И собственное бытие часто угнетало его: к себе как к человеку он тоже чувствовал какое-то стыдливое презрение.

Итак, никаких других ресурсов к убийству, кроме названного, он в себе не видел. Но война – это такое зло, чтобы закончить которое, одним людям необходимо убивать других. К сожалению, никаких других способов люди не придумали, и он тоже не мог ничего предложить.

Вот в данный конкретный момент на него бежит человек в чужой форме и стреляет. Но на его глазах, так, чтобы он доподлинно видел, он не убил никого. Возможно, вчера он убил пятерых детей. Но сейчас это просто человек, который бежит. И выстрелить в него просто так он не мог. Он стрелял вообще, перед собой. Если его пуля настигнет кого-то из бегущих на него, то так тому и быть. Но не более. Для партизанского отряда, который занимался «малой войной» и часто штучным уничтожением, Алексей был плохим приобретением. Рано или поздно это, безусловно, было бы замечено, он отправился бы под трибунал как предатель

и по законам военного времени был расстрелян. Их командир отряда Терновский, немолодой уже человек, участвовавший еще в гражданской, как-то перед всем отрядом расстрелял мародера – своего, Шурку Мушкаева, только за то, что тот в деревне поживился кое-каким барахлом. Вывел перед строем, сказал пару разъяснительных слов и выстрелил. Шурка все время непонимающе смотрел на него, до самого последнего момента. Он был смелый боец, много раз ходил в атаку в первых рядах, его любили посылать в разведку, потому что он был наблюдателен и быстр в решениях. Ну дрогнула рука, семья показалась какой-то неприлично зажиточной по военным временам, и он решил даже не то чтобы мародерствовать, а практически их наказать. Правда, в свою пользу. Это не могло быть причиной, никак. Это не могло перевесить всего, что он сделал для своего отряда раньше. Расстрел не давал ему возможности осознать, раскаяться, больше так не делать – а он, конечно, не стал бы так больше делать. Эта осечка никак не могла прервать его, такую единственную, жизнь. Но «законы военного времени» не давали второго шанса. Его вывели перед строем – кто-то смотрел на него с осуждением, кто-то старался не смотреть – и расстреляли. Алексей подумал, что, если бы было можно, он бы спросил у Терновского, что он испытывал, стреляя в своего – ведь Мушкаев был в отряде полтора года. Но подобные вопросы, во-первых, показались бы подозрительными, а во-вторых, вряд ли командир что-нибудь смог бы ему ответить. Когда он стрелял в Мушкаева, в его душе не было ничего, что он мог бы сформулировать с помощью слов. У него был приказ расстреливать мародеров, и он выполнял его, абстрагируясь от имен и биографий. Так Гришка срывал головы голубям – быстрым и ловким движением. Они, и Гришка, и Терновский, тоже выстраивали дистанцию между своей жизнью и жизнью других, главное же, как и в Алешиной дистанции, было стремление не допустить до себя ничего, что могло тебя исказить и разрушить.

Иногда он даже с ужасом спрашивал себя, не стал ли бы он, если бы его не контузило, дезертиром.

Бессонница. За окном ветер, но черные тени деревьев мечутся по шторе бесшумно. Еще вчера была зима и полная вдоха влюбленность с безосновательными, иррациональными, но уверенными ожиданиями. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.

Она решает: надо составить план. План всегда помогает. Надо четко решить и расписать, что она должна сделать, чтобы стать той, кого он может полюбить. И просто по дням расписать. Когда-нибудь, возможно, они будут вместе работать над книгой. Они будут часто видеться. Она должна заинтересовать его, показать, что она человек его уровня. Очень просто. Она ведь не глупа. Она сдает сессию без отрыва от работы, и поэтому у нее четверки и тройки. А если бы она имела возможность – она знает, многие девочки учатся на вечернем, но не работают, та же Ирка, – она была бы отличницей. Однажды она заболела в сессию и не ходила на работу. И что же? Она сдала фольклор на пять. То есть она не глупа. Наверное, надо как-то свободнее разговаривать, уметь поддерживать беседу. И еще, Верка говорила, в аптеке продаются такие квасцы, помогают от пота.

Хорошо, что еще можно сделать? Живопись. Он художник, надо разбираться в живописи, она ее совсем не знает. Для начала сходить в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей: говорят, там сейчас не только подарки товарищу Сталину, есть и картины. После сессии, нет, можно после экзамена – все равно она в этот день ничего не делает, на работе же не узнают, какая она по счету сдавала. А она пойдет первая, а потом – в музей. Скажет, сдавала последняя. Опасно, но стоит рискнуть. Еще у Верки была книга «Дневник Делакруа», он ведь художник, надо почитать.

Ладно, что еще. Книги. Ну, тут все в порядке, тут она его за пояс заткнет. Вряд ли он читал «Симплициссимус» Гриммельсгаузена. Она, правда, не дочитала, но, кроме нее, вообще никто на курсе не осилил.

Внешность – внешность, это потом, она поговорит с Ирккой, но это неважно, он интеллигентный человек, и духовное содержание у него наверняка на первом месте, только надо купить квасцы.

И что-то еще, что-то еще...

Занавеску втянуло в открытую форточку, вытолкнуло обратно в комнату. Она вздулась парусом, оторвавшись от своего черного рисунка; звякнули кольца карниза. Спустя мгновение ветер стих и занавеска опала, вновь слепившись с пляшущими черными тенями.

Маша Тарасевич вспомнилась ей. Внешне она была обычная, и одевалась как все, и училась не очень, но что-то в ней было отличительное. Вот что нужно. Круг общения. Она должна вращаться в кругу – в некоем кругу, который был бы ему интересен, где были бы необычные люди. Интуитивно она чувствовала, что Ирркины высокие чиновники его не заинтересуют. А вот дочь известного хирурга, которая знает Новый Завет... надо ей тоже почитать. Интересно, а он читал? Да нет, глупости, это же не Векша – молитвами в церкви шуршать. «...иссн... хресс...» – вспомнилось ей, и ветер подшумел в унисон двумя короткими порывами. Надо подружиться с Машей. Ну, не подружиться, ее подруга – Ирка, но как-то сойтись. Да, у нее же вот эти подруги и сын поэта в Переделкине. В пятницу зачет по латыни. Значит, в пятницу. Может, позвать ее в Третьяковскую галерею?

Какой ветер! Он все сильнее и нагонит завтра плохую погоду. Уйдет влажность жирной земли и ниоткуда приходящие запахи сирени, небо затянет серой пленкой, и сырой воздух решительно откажет во всем, что обещал. Мокрые ноги в прохудившихся туфлях, все сложнее отстирывать покрашенные туфлями пятки единственных приличных чулок. Сломанная спица зонтика, цыплячья стылая рука, вытирающая нечувствительный нос – вот что такое дождь... Не сбудется ожидаемое и невидимое – вот что такое дождь... Но это завтра... завтра она пригласит Делакруа... и подружится... Маша Тарасевич... будет...

Назавтра действительно был дождь и все, что тоскливо предвиделось: стылая рука, мокрые ноги, безнадежность. Но на работе после обеда объявился Половнев – в белой выглаженной до хруста рубашке. Сначала в коридоре послышался его голос – он что-то увлеченно и очень громко рассказывал, почти кричал. Регина замечала, что, когда он увлекался, то как будто переставал контролировать себя и постепенно переходил на воодушевленный крик. Но только когда у него было хорошее настроение. Вошел, за ним впорхнула оживленная Княжинская – ну как, она думала, что впорхнула, просто вошла, стремительно, дверь захлопнула подол клетчатой юбки.

– Ой, поймалась! – весело сказала Княжинская, отцепляя юбку.

Половнев улыбнулся, посмотрел на Регину:

– Здравсте, Регин!

Она молча кивнула и тут же вспомнила, что должна вести себя непринужденно и как человек одного с ним уровня.

– Гуль, дай Алексею Владимировичу старые эскизы, с прошлого Луговского! – Княжинская по-прежнему улыбалась. Какое хорошее у нас настроение, однако!

Эскизы год никто не трогал, они лежали в пыльных папках на нижней полке шкафа. Регина подошла в нерешительности к шкафу и опять подумала, что они с Половневым – люди одного круга, он художник, а она будущий филолог. А у Княжинской, между прочим, только полиграфический техникум и курсы марксизма-ленинизма. Регина присела, осторожно просмотрела папки, нашла нужную, слегка потянула – так, чтобы ее можно было ухватить и ни с чем не перепутать.

– Ну вот она! – как можно непринужденнее сказала Регина, поднимаясь с корточек. – Тащите!

– Гулька, ты чего? – удивленно спросила Сереброва, оторвав голову от рукописи.

Княжинская и Половнев переглянулись.

– Регин, да я как-то... в белом... смущенно сказал Алексей. – Может, вы уж сами...

– Давай, давай, Гуля, что это еще за идеи, тебя художник просит, – укоризненно сказал Княжинская.

У Регины затряслись руки, она поспешно присела, чтобы они ничего не увидели, потянула папку, но не рассчитала силы и выдернула сразу несколько, в том числе и одну без завязок – верхняя часть папки оторвалась, содержимое разлетелось по комнате. Она стала собирать, но отдельные листы эскизов, несмотря на их плотность, не так легко было подцепить с пола трясущимися руками.

Уже все кинулись помогать ей, кое-как сложили, нужное взяли, остальное запихнули. Ей очень хотелось убежать, чтобы поплакать, но уйти значило окончательно признать свое поражение в борьбе, о которой никто из присутствующих не подозревал.

«Машу, Машу, немедленно Машу, – в злобном отчаянии думала Регина, – знала бы ее телефон, прямо из редакции бы позвонила».

И сегодня шел дождь, но мама уже ничего не говорила. После того «отстань» она вообще стала спокойнее, перестала метаться, взбивать одеяло, просто тихо лежала на спине с закрытыми глазами и шумно дышала через приоткрытый рот. Губы сильно сохли, сначала Маша смазывала их вазелином, но все равно образовывалась сильная корка, и нянечка положила ей на рот марлю, которую надо было время от времени смачивать. Иногда мама пила кисель, но сегодня, когда Маша попыталась ее напоить, она закашлялась, и отец сказал, что она уже не может глотать и все будет идти в легкие. Надо кормить через зонд. Из-за этого они поссорились. Маша не хотела, чтобы над мамой производили какие-то жестокие экзекуции, отец накричал на нее, что тогда она умрет от голода, мучительной смертью. Смерть от рака, можно подумать, была не мучительна. Они здорово поругались, он ушел на операцию злой, а нянечка сказала:

– Хирурги, известное дело, им бы резать да ковырять.

Она тоже была против зонда.

И тут на пороге возникла Регина.

Ничего нелепее нельзя было придумать. Ничего страннее. Не Аня, на Пасхальную службу к которой в Переделкино – в надежде на пресловутые религиозные чудеса – поехала Маша. Ни закадычный друг Володя – они правда были только друзьями, она правда не была в него влюблена.

Регина. Откуда? Зачем?

В Регине всегда сочетались два качества. Первое было упрямство. Второе можно было назвать «неумением понять ситуацию» или «запоздалым пониманием ситуации». Относительно первого. Если ей приходила в голову какая-то новая цель, которая казалась ей привлекательной, она мгновенно принималась ее осуществлять, и многочисленные препятствия или даже недостижимость цели ее не останавливали. Более того: она тратила колоссальные усилия, и чем меньше у нее получалось, тем привлекательнее выглядела цель, и тем яростнее она рвалась к ней. Не это ли было ключом к ее влюбленности в Половнева? Касательно ситуаций: она, как уже было сказано, действительно обладала хорошим чутьем на отношения, но при этом совершенно не могла вовремя и правильно оценить ситуацию, в которой находилась. Кажется, это называется «отложенные реакции» и является свойством не то шизоидов, не то невротиков. Она могла ворваться в чужой и явно приватный разговор со словами: «Вы про что?» – и оставаться с ошеломленными секретчицами до тех пор, пока они не принимались говорить о чем-то постороннем или просто не уходили. Она не понимала намеков – или понимала их много позже, через день или неделю. Но если она и понимала ситуацию, она никогда не могла

найти из нее правильный и изящный выход, и потом ночами в своей комнатке под сопение и скрип за стеной толково отвечала, остроумно выпутывалась, изящно шутила. Некоторые же ситуации так и остались для нее неразгаданными, и она даже не подозревала, до какой степени неправильно она их поняла.

Итак, она решила найти Машу, и она ее нашла. Сначала она приехала в институт и узнала расписание прошлого Машиного курса. У них, к счастью, в этот день был экзамен. Потом она нашла Аню Колосовскую – кто-то из девочек показывал ей ее раньше – познакомилась с ней и стала допрашивать про Машу. Оторопевшая Аня сказала, что знала: что у Машиной мамы рак и что Маша все дни проводит в Боткинской. Ане в голову не пришло, что Регина поедет в больницу, как никому бы в голову не пришло туда поехать. Но Регина поехала. Она подумала, что это хороший способ – познакомиться с Машей в минуту печали. Может, она будет ей полезна? Так они и подружатся. Она нашла раковый корпус и спросила больную Тарасевич. Ей сказали номер палаты.

И она возникла на пороге.

Нет, конечно, она не была совсем сумасшедшей и, если бы знала, насколько плохи Машины дела, она бы не заявила так. Но ведь раком болеют долго, мало ли.

Маша растерянно посмотрела на Регину.

– Привет, – сказала Регина.

С зонта потекло на пол, она растерянно приподняла его.

– Можно сдать в гардероб, – сказала Маша.

– Сейчас! – Регина повернулась уходить, но приостановилась, посмотрела на кровать, где ровно и шумно дышала высохшая желтая женщина с марлей на рту и закрытыми глазами. Тень отдаленного понимания заставила ее все же спросить: – Я, наверное, не вовремя?

Маша растерянно обернулась на маму, потом опять на Регину. Она по-прежнему не могла понять, как и зачем она здесь оказалась. Может, что-то в институте и ее прислали?

– А что случилось? – наконец спросила она.

– Ничего, – Регина отметила, что с зонта натекла уже целая лужа, надо взять у нянечки тряпку. – Я просто подумала, может, тебе нужна помощь?

– Да нет... – Маша опять обернулась к кровати. – Спасибо, но здесь папа... и нянечки...

– Я умею варить бульон, – вспомнила Регина. Любая болезнь виделась ей в оппозиции с бульоном. На одном конце – смерть, на другом – бульон.

Маша отрицательно помотала головой. Нелепая гостья стала тяготить ее.

– Хочешь, просто поговорим?

Маша невольно улыбнулась. Там, за стенами больницы, была другая жизнь, о которой она совсем забыла, которая текла по каким-то своим законам. Там были глупые радости и обиды, влюбленности и секреты, там она взлетала по лестнице, пропуская ступеньки, и тратила стипендию на билеты в консерваторию. Оттуда пришла странная Регина и, наверное, в том внешнем мире, о котором она уже мало что помнила, ее поступок был естественен. В нынешнем мире было «отстань» и дождь, гудящая от недосыпа голова, тошнота, головокружение и общее состояние скорченного, замершего ожидания неизбежного.

Наверное, она стала терять чувство времени, потому что, пока думала это, то молча, не отрываясь и ничего не отвечая, смотрела на Регину. Может быть, она даже заснула на мгновение, стоя и с открытыми глазами – она уже несколько раз замечала за собой эти выпадения.

Регина не знала, как реагировать на молчание Маши и опять посмотрела на ту, что мерно дышала на кровати. Она увидела, что глаза у нее теперь открыты.

– Маш, – тихо сказала Регина и указала головой на кровать.

Маша обернулась, бросилась к кровати. Мама смотрела на нее.

– Мам... – сказала Маша тихо, уже не думая про топчущуюся на пороге Регину. Уйти та не догадалась, тянула шею, смотрела испуганно.

Мама не отвечала, но переводила глаза, если Маша двигалась. Смотрела на ее лицо. Маша дотронулась до ее плеча, но отдернула руку, вспомнив «отстань». Опять сказала: – Мам...

Почему-то ни ей, ни Регине не пришло в голову кого-нибудь позвать.

– Она тише дышит, – шепотом сказала Регина от двери.

Действительно, мамино дыхание стало реже и слабее.

Маша села на пол у изголовья. Она поняла, что сейчас все кончится.

Регина заплакала на пороге, стараясь не хлюпать. Маша почувствовала, что у нее тоже текут слезы. Она поспешно отирала их руками, чтобы они не мешали смотреть ей на маму, чье дыхание становилось все тише. Потом вспомнила важное; лихорадочно, не отрывая глаз от мамы, завозилась руками в карманах, достала записочку, которую ей дала в Переделкине Аня. Нашла, скомканную, чуть порвавшуюся, развернула. Неловко клюнув головой, перекрестилась. Стараясь одновременно смотреть на маму и на листочек, шепотом прочла:

– В руке Твои, Господи, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

На самом деле слова она помнила, потому что до этого неоднократно перечитывала записку, но лучше так. Она еще дважды повторила их.

Мама вздохнула чуть глубже, но нового вздоха не последовало.

Больше она не дышала.

Маша подождала, вскочила, торопясь, нашла в тумбочке зеркальце и поднесла к маминому открытому рту. Теперь она действовала лихорадочно, быстро, суетливо, суетливее, чем подобало бы в подобной ситуации. На зеркальце ничего не отразилось. Она схватила платок и, шмыгая, стала подвязывать маме челюсть – почему-то казалось, что надо непременно сразу это сделать, иначе потом уже сделать будет невозможно. На ступившуюся где-то на пороге Регину она совсем не обращала внимания. Платок не завязывался, она бросила, приостановилась в растерянности.

– Я позову нянечку, – хлюпая носом, сказала от порога Регина.

Маша не ответила. Регина скрылась, спустя некоторое время послышались поспешные шаги. Люди вбежали, Маша отошла назад, чтобы не мешать им. Потом вышла вовсе, прислонилась к коридорной стене.

Все, что происходило в палате, сразу перестало иметь значение. Там просто было тело, оболочка, не имевшая никакого отношения к ее маме.

Она даже почувствовала какое-то облегчение.

Неподалеку от нее маялась Регина, окончательно деморализованная. Маша посмотрела на нее. Они оказались вместе в этот момент. Значит, мама хотела, чтобы в этот момент была Регина. Захотела в этот момент умереть. Не при папе, не при нянечке. Маша могла уйти куда-то, выйти на минуту – хоть в туалет. Просто заснуть, отвлечься. Это Регина обратила ее внимание на открытые глаза.

Регина почувствовала изменение отношения. Нерешительно сделала несколько шагов к ней. Маша посмотрела на нее.

– Я раньше никогда не видела, как умирают, – шепотом сказала Регина.

– Я тоже, – сказала Маша.

Алексей действительно обратил на Регину внимание после ее старославянских тетрадей. Она была для него молоденькая девочка, довольно нелепая, всегда странно одетая: ее вязанные кофты и косые юбки никогда не сочетались ни по цвету, ни по фактуре, при этом она носила довольно дорогой и старый перстень с рубином, который обращал на себя внимание именно своим несоответствием наряду. Ее темные волосы часто бывали грязными, а чистые всегда вываливались из прически – высокого старческого пучка. От нее пахло едким молодым

потом; белые воротнички темнели краями даже на свежих рубашках. По общей человеческой склонности определять нового человека в ту или иную группу он мимоходом попытался ее классифицировать, но она не подходила ни в провинциальные дурочки, ни в синие чулки, ни в интеллектуалки. Не стоит труда, он просто не стал об этом думать. Старославянский был заявкой на интеллектуальную группу. Хотя ничем другим – ни поведением, ни разговором – она этого не подтверждала.

Он только что закончил серию. Это были иллюстрации к роману – плохому, но идеологически выдержанному, про предателей в оккупированном немцами городе. Не умея халтурить, он прочел его целиком, чтобы иллюстрации соответствовали тексту. Невыносимо. В Пскове у них жила дальняя родня – сестра бывшего теткинго мужа с двумя детьми. Во время войны детям было десять и пять. Сам сестринский муж, начштаба стрелкового батальона, погиб недалеко от дома, под Стремуткой. И вот эта сестра мужа осталась с детьми. Она хорошо знала немецкий. Не дожидаясь, когда немцам на них донесут соседи, она совершила, как она считала, упреждающий шаг – пошла работать в комендатуру. Ей почему-то казалось, что теперь на нее доносить нет смысла. Самое удивительное, что так, очевидно, сочли и соседи. Таким образом, они жили в относительном достатке. Когда немцы ушли, она осталась в городе. Ее посадили, детей определили в интернат. Тетка хотела взять детей, но он не дал – детей они бы не потянули. Тетка получала мизерную пенсию по инвалидности, плюс его временные гонорары, это всё. На войне он научился принимать необаятельные решения, направленные только на выживание. И вот теперь он иллюстрировал похожую историю про вдову красного командира с двумя детьми, которая героически прятала в подвале коммунистов, а дети собирали секретные сведения и передавали их этим прятавшимся коммунистам. Невыносимо. Детей этой родственницы он периодически навещал в интернате. Старший был остролицый волчонок с серой прозрачной кожей и гитлеровской челкой, за которую его дразнили. В интернате у него начался энурез, иногда он дергал головой – нервный тик. Ничего, кроме ненависти, он не испытывал ни к кому, тем более к Алексею. Младший был румяный, толстенный и умный – Алексей подозревал, что его отцом был кто-то другой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.